

Он становится у правого края просцениума. Он в черной паре, не театральной. Он корректен. Его стиль — сдержанное негодование.

Смотрю в программу. Ч. пальцем указывает мне роль этого актера: нарратор. Это польское (и латинское) слово значит: рассказчик. В наших пьесах этот персонаж обычно называется чтецом или ведущим.

Он не играет. Он почти неподвижен. Он действительно рассказывает. Иногда задает вопросы. Он наш представитель. Посол от зрителей. Отчасти обвинитель. Наш современник. Может быть, бывший узник. Это ведь совместимо. Освенцим ныне музей. Я там был. Его сотрудники — бывшие узники.

Он начинает спектакль. Он говорит:
— Рудольф Гесс был врагом человечества. Но попытайтесь быть другом человека! У человека есть родина и привязанности. У некоторых есть идеалы. Рудольф Гесс не родился сразу врагом человечества...

Итак, нас призывают к снисходительности к человеку, убившему свыше трех миллионов людей... Что ж, пытаемся.

Пока он это говорит, на сцене появляется оберштурмбанфюрер Рудольф Франц Фердинанд Гесс, комендант Освенцимского концлагеря. Его играет Войцех Семион, примечательнейший актер сегодняшней Польши. Он артист одного из крупнейших варшавских театров. А вот ведь его влечет в этот маленький полупрофессиональный театрик! Может быть, здесь он спасается от рутинных традиционных спектаклей?

Я смотрю на Гесса, этого палача-рекордсмена. В нем нет ничего зловещего. Он прост, обыкновенен, грустен. Видно, что он сожалеет о свершившемся в Освенциме. Не раскаивается, а именно сожалеет, как если бы речь шла о нарушении им правил уличного движения, а не об убийстве миллионов людей.

Появляются и другие персонажи. Они располагаются в глубине сцены. Жена Гесса. Ее играет Казимера Урота, одна из основоположниц этого театра. Судья в тоге. Эсэсовский офицер. Это все персонажи почти безмолвные, в сущности, фигуранты.

Сама пьеса — не что иное, как театрализованные мемуары Гесса. Текст скомпонован с большим искусством Анджеем Ярециком. Я знаю еще только одну вещь этого жанра — пьесу «Милый лжец», сделанную по письмам Бернарда Шоу. В обоих случаях пьесы получились острыми.

Свои мемуары Гесс писал в тюрьме. В сущности, они его оправдательная речь, так сказать, распространенный вариант его последнего слова. И хотя он уверяет, что не сомневается в смертном приговоре, но кто же не надеется на спасение! Нет сомнения, и Гесс надеялся.

Но независимо от этого записки Гесса раскрывают его страшную сущность. И не только его — всего национал-социализма.

Войцех Семион это гениально показывает.

Глаза, руки и голос. Вот главные средства Семиона. Большие выразительные глаза, то стекленеющие в лакейской преданности, то сумасшедшие, то увлажненные сентиментальной слезой. А когда Гесс—Семион говорит, что в юности мечтал стать миссионером, в глазах его появляется что-то сладко-иезуитское.

Руки — вы все время видите эти руки убийцы, эти пальцы, которые то сжимаются, то расправляются, как щупальца спрута.

Голос — то воркующие перекаты разнеженного отца и мужа, то четкие деловые интонации исполнительного чиновника, докладывающего о технике массовых убийств. И вдруг — непроизвольный, командный и вместе с тем истерический крик освенцимского коменданта. Рык палача!

При этом Семион не лишает Гесса шансов на спасение. Он играет Гесса именно таким, каким изображает себя сам Гесс в своих мемуарах. Ничуть не хуже. Семион не сгущает красок, не шаржирует, не издевается, не негодует. Семион — это Гесс. И это страшно и отвратительно.

Всего ужаснее, когда этот коренастый человек в куртке и коричневых крагах бесстрастным тоном научного референта называет цифры — количество убитых им людей: Польша — 250 тысяч, Чехословакия — 100 тысяч, Голландия — 95 тысяч, Франция — 100 тысяч, Венгрия — 400 тысяч... Несколько извиняясь, он говорит, что массовых убийств меньше чем двадцати тысяч человек он не помнит. Это он считает мелочью, не заслуживающей упоминания. Он крупный оптовик. Столь же хладнокровно перечисляет он, сколько в какую печь влезало трупов, и как долго надлежало сжигать их, и с какими подробностями убивал узников газ «Циклон-Б», в просторечии — «пруссский квас». И тут сквозь деловой стиль начинается пробиваться сладострастие садиста.

Кто же он такой, этот дьявольский мотор убийства?
— Обыватель, — шепчет мне Ч. — Обыкновенный мещанин.

В антракте, когда мы, присев за небольшой столик, пьем кофе, он развивает эту мысль:

— Зверство в натуре мещанина. Зверство или бесчувственность. Родители, бьющие своих детей, пьяный муж, истязавший жену, — это в зародыше гессы...

— Но он сентиментален. Вспоминаете, как он сердечно говорил о своих семейных радостях, как призывал своих детей идти по солнечной стороне жизни.

— Разве вы не знаете, что самые сентиментальные люди — это бандиты и проститутки? Да, у него есть сердце. Но это сердце фашиста, мохнатое сердце зверя.

В наш разговор вдруг вмешивается маленький круглолицый юноша в очках, сидящий за соседним столиком.

— Но все-таки, — говорит он, — нельзя отрицать, что у него была своя философия. Понимаете, я хочу быть справедливым, иначе мы не поймем сути этих людей. Да, это была философия нацизма, пусть ужасная, кровавая, но они-то в нее верили. Может быть, по принципу: *credo quia absurdum**.

Ч. покачал головой:

— Да, верили. Но по другому принципу: *credo quia prodest***.

Мы возвращаемся в зал. И мы слышим, как в конце спектакля Гесс деревянным голосом кается:

— Прошу польский народ простить меня...

Чтец:

— Не прощаем... И на солнечной стороне жизни ничего нельзя забывать.

Хор на сцене подхватывает:

— Не прощаем преступников!

И я вижу, как зрители включаются в этот хор. Весь театр кричит в лицо убийце:

— Не прощаем!

Я видел в Освенциме виселицу, на которой был повешен Рудольф Гесс. Она стоит рядом с печами, где он сжигал людей.

Кричат юнши, у которых убили родителей. Кричат старики, у которых убили детей. Кричит Польша.

Спектакль-митинг...

Потом зрители опять превращаются в зрителей и долго аплодируют талантливому представлению.

По ступенькам мы спускаемся со двора. И вот мы идем по шумной варшавской улице, такой нарядной, жизнерадостной, вправду — по солнечной стороне жизни.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ



Я стою у окна и вижу огромную площадь. Она темная, пустынная.

Только на дальнем краю нестерпимо оранжевым блеском горит могила Неизвестного солдата. Мерзлая крупа звенит о стекло. Вороны, каркая, носятся над площадью. Варшава кажется вымершей в эту рождественскую ночь.

И грусть, необъяснимая грусть вдруг сжимает мне сердце.

Давно собирался я пойти на улицу Фредро, чтобы оживить одно воспоминание. Да все времени не находилось, хоть и живу-то я в двух шагах от нее, только площадь перейти.

Но при мысли, что мне придется долго шагать сквозь эту унылую пустыню в неживом оранжевом зареве, мне делается еще грустнее.

Я сбрасываю пальто, сажусь в кресло и беру книгу. Это история варшавских улиц Станислава Лозы. Я погружаюсь в повесть о несуществующих костелах, умерших архитекторах, исчезнувших домах.

Дома на улице Фредро в книге нет. Но я знаю, он там стоит. Я видел его собственными глазами. Правда, это было двадцать лет назад. Но с тех пор дома в Варшаве больше не исчезают, а, наоборот, только и делают, что появляются.

В книге Станислава Лозы — только знаменитые дома, прославленные своими скульптурами, гербами, убийствами, ресторанами.

Ах, если бы почтенный пан Лоза видел в этом доме на улице Фредро то, что видел там я, он бы немедленно включил его в свою книгу.

Вдруг я почувствовал, даже не глядя на улицу, что там что-то произошло. Какое-то движение света. Как бы смещение пространств. Словно бы что-то вторглось в объем мира.

Я подхожу к окну.

Снег пошел!

Валит, валит! Пухлый, звездастый, веселый. Он все переменял, сблизил, смягчил, сделал добродушным.

Я надеваю пальто и выхожу.

Я сразу узнал этот дом. Да, это он, довоенный старомодный дом, один из немногих уцелевших в Варшаве. Немцы не разбомбили его в тридцать девятом, не подорвали в сорок четвертом, не сожгли в сорок пятом. Ему повезло. Он стоит передо мной такой же, как 17 января сорок пятого года, когда мы освободили Варшаву.

Вот тогда я увидел его впервые. Мы с Савельевым, длинноногим капитаном из армейского разведотдела, бродили по гигантскому кирпичному крошеву Варшавы.

(Так вот почему мне стало грустно, когда я прежде смотрел из своего окна на пустынную площадь: она напомнила мне ту Варшаву, пустынную, безмолвную).

Пробираясь среди развалин, мы с Савельевым вдруг услышали тихое пение. Оно доносилось из дома по улице Фредро, одиноко возвышавшегося меж руин.

Мы заглянули во двор. Посреди него стояла небольшая кучка людей. Они сгрудились вокруг самодельного алтаря, сооруженного из ящиков. На алтаре высилась позолоченная статуя Мадонны с облупленными боками.

Худенький подросток что-то быстро бормотал ломаящимся мальчишеским баском. Остальные нарспев повторяли за ним.

Я прислушался:

— *Salvi sumus per heroici bellatores armorum tuorum*...

Савельев толкнул меня в бок:

— Что они там верещат?

— Дорогой мой, на своей варварской латыни они возносят молитвы во здравие доблестных бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В это время во двор вбежал старик. В руках у него был топор.

— Вон отсюда, лайдажи! — закричал он, свирепо гримасничая лицом, утыканным седой щетиной.

Люди нехотя ползели со двора. Мы пошли за ними.

Старик развалил алтарь, поставил ящики поперек ворот, и сам стал за ними, как за баррикадой.

Люди стояли за воротами и в угрюмом молчании смотрели на старика.

А он вращал топором над головой и кричал:

— Не пущу! Убью!

Я спросил у мальчика:

— Что это он?

— Домовладелец, — нехотя ответил он.

Такой эта картина и отравившаяся в моей памяти: посреди развалин Варшавы — кучка бездомных людей и против них собственник с искаженным от ярости и страха лицом и со сверкающим топором в занесенной руке...

И вот через двадцать лет я снова вижу этот дом. Светятся окна, видны елки, поблескивающие свечками. Доносится музыка, нежно смятенная пространством. Видны тени танцующих.

Иногда чья-то рука отодвигает гардины, и к стеклу прижимается разгоряченное и счастливое девичье лицо.

Я бросаю последний взгляд на оживший старый дом и иду обратно.

Теперь эта площадь не кажется мне такой унылой. Снег ласково ложится на мое лицо. Я останавливаюсь перед могилой Неизвестного солдата.

На стенах над вечным огнем развешаны доски. На них выбиты слова: Тобрук, Нарвик, Монте Кассино, Арнем, Ленино — все места, где поляки сражались, проливали кровь и побеждали Старика-С-Топором.

ШИРОКИЙ ДУНАЙ

Я сворачиваю в одну из узеньких улиц Старого Мясца.

Почему узкие улицы так влекут к себе? Почему всегда так хочется погрузиться в их узкие расщелины? В чем тайна их очарования? В их живописности? В духе соседства господствующего там? В их сказочной необычности? Может быть, в легкости их обзора?

Меня обгоняет девочка в беретке. На рукаве ее пальто — номер школы. Он нашит на маленький полуовал, похожий на поле герба или на рыцарский щит.

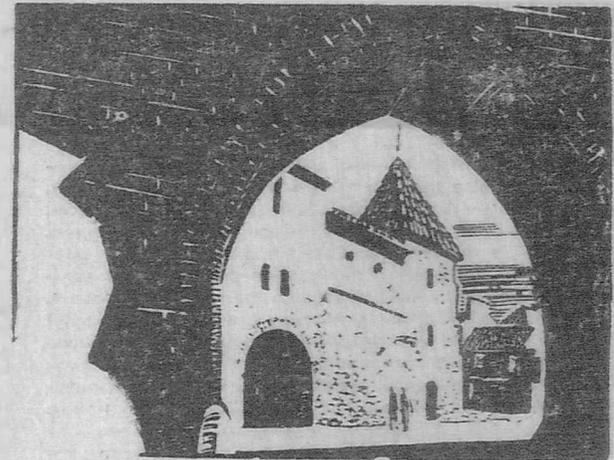
Вдруг из ее кармана выпадает монета. Она катится по выщербленным плитам.

Я поднимаю монету. На ней профиль Тадеуша Костюшко с его вздернутым носом, когорый так же знаменит, как нос Сирано де Бержерака, но в противоположном смысле. «Нос Костюшки» — выражение нарицательное. Великий польский патриот был предельно курносым.

Я отдаю монету девочке. Она делает грациозный реверанс и стремглав исчезает в зигзагах этого городского ущелья.

На углу я подымаю глаза и читаю название:

«Широкий Дунай».



СКАМЬЯ ПОД КАШТАНОМ

Небо сегодня очень низкое. На шпилье Дворца культуры висит взъерошенная сердитая туча. Вот-вот бросится на прохожих.

Я дышу сыростью и бензиновым чадом.

Временами небо светлеет то здесь, то там. Кажется, что солнце мечется позади толстого занавеса и делает отчаянные попытки прострелить его.

В поисках кислорода я направляюсь в Лазенковский парк.

Вот моя любимая скамья под каштаном.

Там кто-то сидит.

Ну и пускай.

Совсем молодой парнишка.

Я сажусь рядом. Между нами полметра и полвека.

Я разворачиваю «Правду». И я вижу, как в лице у юноши взрывается интерес.

— Прошу простить, — говорит он, — хотелось бы узнать: там у вас ребята увлекаются танцами, например твистом, роком, лет-киссом? Или, наоборот, против?

— Как кто, — отвечаю я кратко.

Смутное воспоминание зашевелилось во мне. Я прикрываю глаза, силюсь настичь его.

Есть!

«Собачья радость»!

Так комсомольцы двадцатых годов в целомудренном презрении своем называли галстук. В клубах, в газетах шли бои: пристойно ли идейному парню носить «собачью радость»?

— Вы варшавянин? — спрашиваю.

— Я крестьянин.

Он говорит это с некоторой гордостью.

Он белокурый, чубатый. Из его любопытных глаз и напряженной улыбки еще не выпарилось детство. Средний палец правой руки по-школьнически замаран чернилами. Даже если он жечат, все равно ему еще снится, что он летает. Он из той половины польского народа, которой нет девятнадцати лет. Да, их уже набралось не меньше половины, черт побери! Интересно, из каких он ребят? Из тех, кто на привязи у своей плоти? Или из тех, кто прислушивается к зовам души?

Он одет со старательной небрежностью — мятые брюки, голая шея, грубый свитер, точные вывязанные из толстых веревок. На коленях — раскрытая тетрадь, вся исполосованная чертежами и формулами.

* Верю, ибо бессмысленно (лат.).

** Верю, ибо выгодно (лат.).